

18+

Амаяк Павлович Тер-
Абрамянц
Тропинками детства

Истории о детях, сказки



Амаяк Павлович Тер-Абрамянц

Тропинками детства.

Истории о детях, сказки

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20614572

ISBN 9785448311338

Аннотация

У каждого человека, у каждого поколения и народа свои истории детства. «Ребёнок – отец человека» – говорят англичане. Мы слишком поспешно и много забываем из нашего детства. Попробуем вспомнить?

Содержание

Свет в окне	5
Мамины сказки	12
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Тропинками детства
Истории о детях, сказки
Амаяк Павлович
Тер-Абрамянц

© Амаяк Павлович Тер-Абрамянц, 2016

ISBN 978-5-4483-1133-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Свет в окне

В детстве я всегда с нетерпением ожидал Нового года. Мы жили в двухэтажном доме напротив больницы, где работал отец. Уже запустили в космос Белку и Стрелку, и шаловливые мордочки лаек глядели с обложки «Огонька». Я любил играть облигациями, которыми родители получали часть зарплаты, а Таллин еще не взял на буксир безликие пятиэтажки Мустамяэ, и его готический силуэт не взломали прямоугольники небоскребов «Виру» и «Олимпии».

В новогоднюю ночь Дед Мороз всегда приносил мне подарки, странным образом совпадавшие с моим «Хочу, хочу», громко звучавшим в «Детском мире» накануне праздника (мама уверяла, что у нее не хватает денег, и покупала какой-нибудь пустяк мне в утешение). Но это повторяющееся совпадение не казалось удивительным: Дедушка Мороз должен был догадаться о моем желании – это было также естественно, как сказка с добрым концом. Не было странным и то, что Дед Мороз в голубой шубе и с белой ватной бородой говорил нарочито басистым, но очень знакомым голосом и приход его всегда совпадал с отлучкой мамы к соседям по какому-то крайне неотложному делу. Мир взрослых был высоким и незыблемым, каждое слово их являлось истиной или тайной.

Незадолго до праздника в углу большой комнаты поселя-

лась елка, небольно, дружески покалывающая любопытные пальцы. На всем белом свете не было ничего прекраснее и таинственнее хрупкого блеска игрушек среди вознесения дремучих ветвей.

Отец укрывал пол и крестовину под елкой пушистой ватой и начинал мастерить из бумаги домик с окошком. Между широкими кистями происходило с простой бумагой что-то непонятно сложное. Змеились под смуглой кожей вены сильных и ловких рук хирурга, сверкали ножницы, хрустели листы. Как я завидовал его умению строить домик! В стене он прорезал ячеистое крестьянское окошко, помещал свое творение среди ватных сугробов под нависшей тяжелой зеленью хвои, проводил в него лампочку от батарейки, и домик среди снегов мгновенно оживал, радостно вспыхивая квадратиками окна.

– Э-ге-ге! – посмеивался отец. – Вокруг снег, мор-роз, а в домике тепло, уютно... – ...А за окном шел настоящий, сырой таллинский снег...

– А там есть люди? – спрашивал я.

– Конечно, лесник чай пьет...

– А мы к нему постучим.

– Тук-тук...

– Тук-тук и спрячемся, ладно?

– А он как выскочит, с одним зубом, палкой размахивает:
«Кто там? Кто там?..»

Тут я всякий раз заливался смехом, хотя слышал эту исто-

рию не впервые – очень уж мне смешным казался этот старик с одним зубом, длинной палкой в руках и почему-то в моем воображении всегда в какой-то нелепо большой шапке.

– Ха-ха-ха, с одним зубом!

– С одним зубом, – подтверждал отец. – Как закричит. «А ну, кто там, вот я вас, проказники!» – и я снова смеялся.

А домик светил иллюзией покоя в человеческой судьбе.

Когда я подрос и мне купили краски, отец иногда вместе со мной пробовал рисовать – и всегда одно и то же: домик, что-то похожее на украинскую хату, с колодезным журавлем, темная ночь и горящий в оконце уютный огонек. Позже я узнал, что, рано потеряв родителей, отец долгое время скитался по Украине. «Беспризорник...» – он всегда хмурился, когда рядом звучало это слово. Потом были подвалы, общежития, казармы, землянки, какие-то углы в коммуналках... И на всю жизнь сохранилась привычка где придется стряхивать пепел «беломорины», без которой не мог жить и полчаса. Через все детство я помню эти случайные горстки пепла то на столе, то на подоконнике, в раковине и даже на ковре (теперь в моей памяти они возникают скорбными вешками жизни его Поколения, отметинами невысказанных мыслей, неосуществленных надежд, потерь).

И лишь сейчас, мне кажется, я разгадал природу любви отца к этим огонькам. Детство его закончилось примерно в том возрасте, когда я еще верил в Деда Мороза. В том страшном восемнадцатом году Армении, казалось, испыты-

вала последние предсмертные судороги. Черной ночью деревню, где он жил с родителями, оцепили турецкие аскеры и азербайджанские мусаватисты, и на рассвете должна была произойти поголовная, без различия пола и возраста, азиатская резня. На всю жизнь он запомнил вой, который стоял в деревне в ту ночь. Выли люди, собаки, ревела скотина, и невозможно было отличить голоса одних от других в едином стоне обреченности перед ужасом небытия.

Но вдруг забрезжило спасение. Оно явилось в образе некоего перса, который за золото пообещал провести людей в горы: он знал еще не перерезанную аскерами тропу. На Востоке любят золото особенной любовью. И перс получил столько золота, сколько мог унести – серьги, монеты, кольца...

Перед уходом расставили на крышах горящие керосиновые лампы, чтобы издали казалось, будто деревня обитаема.

Безмолвная вереница людей. Последний взгляд перед тем, как их поглотят черные горы. Возможно, именно эти ночные огни покинутых жилищ и остались в памяти девятилетнего мальчика стойким впечатлением внезапно, навсегда утраченного мира и уюта!

Ушли все, кроме одной полубезумной старухи.

– Мне смерть не страшна, – сказала она, – я святая!

Не раз пытался себе представить: притихшая деревня, догорающие керосиновые лампы на крышах, худая, скрюченная и страшная, как смерть, старуха, сжимая крест на гру-

ди и шепча беззубым ртом слова молитвы, идет одна по пустынной улице навстречу надвигающимся всадникам...

Они облили ее керосином и сожгли живьем.

В ту новогоднюю ночь мама никуда не отлучалась. Вместе с нами была моя няня, Полина Ивановна, коренастая сухощавая женщина с твердокаменным характером, которая все еще часто приходила к нам. В сознании моем она была и осталась «бабушкой», и называл я её просто «Ба».

Полина Ивановна куда-то засобиралась.

– Ба, – спросил я ее, – ты куда?

– Да к соседям я.

– А к кому?

– Да к Номику, я недолго. – Номик был большой мальчик с нашего двора, к родителям его иногда заходила бабушка.

– Ты, правда, скоро придешь? А то не увидишь Деда Мороза!

– Приду, приду, скоро, – сказала она и вышла. Я в нетерпении ожидал Деда Мороза, повторял стишок, который должен был продекламировать ему перед тем, как получить подарок, очень боялся сбиться. А перед глазами маячил серый игрушечный крейсер, на который в последнее наше посещение «Детского мира» у мамы не хватило денег. Этот деревянный крейсер можно было бы пускать по настоящей воде в корыте, или даже в море, когда мы поедем летом купаться

в Пириту. Отец тем временем размещал домик среди ватных снегов. Раздался стук в дверь.

– А вот и Дед Мороз! – воскликнула мама и побежала открывать.

На этот раз Дед Мороз был не такой, как раньше, – не в голубой, а в красной шубе, да и росточком поменьше, но когда он заговорил, я закричал от восторга, узнав совсем не измененный, не умеющий ломаться голос со знакомой хрипотцой.

– Ма, да это же Ба!

– Да нет же, – уверяла мама смеясь, – это Дед Мороз, только голос у него похож на бабушкин.

Я в недоумении, задрав голову, смотрел на Деда Мороза – как будто все в порядке: белая борода, шапка, глаза, хоть и похожие на бабушкины, но без очков... И вдруг между воротником и шапкой я увидел нечто такое, что разом решило все мои сомнения.

– Уши! – обрадованно закричал я. – Бабушкины уши! – и радостно обхватил красную шубу. Действительно, эти небольшие круглые уши с комковатыми мочками невозможно было перепутать ни с какими другими.

– Да нет же, нет, – смеялась мама, – бабушка у соседей.

Дальше, однако, все шло своим чередом. Заикаясь от волнения, я прочитал какой-то стишок и получил в награду желанный подарок: серый длинный крейсер с орудийными башнями, трубами, сиренами и даже спасательными шлюп-

ками. Он стоял на полу, вполне готовый к походу.

Дед Мороз как-то уж очень быстро ушёл.

– Ну мне пора, пора, – говорил он, ретируясь, так знакомо окая.

Отец зажег огонек, в домике засияла розетка окна, свет проникал через полупрозрачные бумажные стенки, но я вдруг представил, что там, внутри, ничего нет, кроме лампы и ваты, и мне неожиданно захотелось эту пустоту кем-нибудь заселить.

Мы усаживались у маленького, как ожившая чёрно-белая фотография, экрана нового чуда того времени – телевизора «КВН». Вернулась бабушка.

– Ба, это была ты? – спросил я ее.

– Да нет же, я к Номику ходила.

– Нет, это была ты, ты была, теперь я знаю, настоящего Деда Мороза нет! – объявил я торжественно, и пусть все утверждали обратное, я так и остался непоколебимо уверенным в своем открытии.

Это была первая тайна взрослых, разгаданная мною в жизни.

Мамины сказки

1

Мама загорала на волшебной коктебельской гальке, закрыв глаза. Я, только что выскочив из воды, мокрый и приятно озябший лёг рядом, чувствуя светлый летучий восторг солнечной быстро согревающей щеколки испаряющихся с кожи капель. Мама любила лежать так, чтобы набегавшие волны касались её стоп и пена доставала до голени. Справа вторгался в море громадный Кара-Даг с его премудрыми изломами, каменными чудесами, бухтами, за ним от моря в очередь – круглая, зелёная от курчавого леса гора с серый прямоугольной проплешиной на склоне и скалистый пик Сюрю-Кая – три горы совершенно разного характера... впереди сияло синее море – бескрайнее, как радостное обещание счастья.

– А хочешь, я тебе расскажу сказку? – неожиданно спросила мама, не открывая глаз.

Я, чтобы её не обидеть, нехотя согласился – мне было уже 11 лет, и сказок я почти не читал – всё больше приключения, фантастику...

– Жила была девочка, – начала мама, – ей было столько же лет, сколько тебе. Родители её умерли, дома не было своего,

и она ночевала в сарае с коробками... И каждую ночь в сарае начинало шуршать, едва она собиралась заснуть – это были крысы, собиралась целая стая, и они приближались, наступали на неё. Девочке было страшно, и она отгоняла их от себя...

Мама неожиданно замолкла. Шумело море, слышался весёлый визг детей. На продолжении я не настаивал, сказка казалась какой-то неинтересной, начало и продолжение её тонули в какой-то серой мгле... А возможно, мама просто не успела досочинить сказку... Но что-то, видимо, было в её обертоне такое, из-за чего эта «сказка» не забылась, а упала на дно памяти навсегда. И смутная догадка-подозрение оставалась: «Это была ты!»

– «А потом у неё всё стало хорошо!» – неожиданно закончила мама, обернувшись ко мне и открыв свои зелёные лучистые глаза, и улыбаясь.

Тем летом отец и мама поссорились в аккурат перед её отпуском, и мы поехали на юг без него. Здесь я впервые через много лет увидел снова море, но не похожее на голубовато-стальную холодную Балтику моего раннего детства, а ярко-синее, а мама после короткого боя с директором пансионата «Планерское», выбила нам номер на первом этаже на двадцать дней.

Был 1962 год. Коктебель казался раем, наградой за год существования в сером промышленном и безликом городе в центре России со скучной школой, спасением от тоски которого были лишь пластилиновые игры-миры с приятелями по дому и впервые прочитанные «Остров сокровищ», «Три мушкетёра», «Следопыт»... А здесь всё намекало на приключение: и ветровые, и вулканические скульптуры Кара-Дага (одни Золотые ворота, стоящие среди моря, чего стоили!), его бухточки – сердоликовая, разбойничья... И чёрные спины дельфинов с острыми плавниками, раза три прокатившиеся баллонами над ослепительной фиолетовой в мелкой ряби гладью. По территории ходили павлины с раздёрганными туристами, но не потерявшими своего великолепия перьями, кричавшие по ночам «Мяу! Мяу!». Здесь я научился плавать! Каждый день в Планерском (тогда так чаще называли Коктебель) приносил какое-то открытие...

– А вот я тебе расскажу, как мы жили, когда я была маленькой, – мама неожиданно повернулась ко мне, в руке у неё оказалась палочка, и она начала чертить на полосе песка среди гальки.

Она начертила большой прямоугольник с закруглёнными углами: «Вот такой у нас был двор»... Потом она принялась рассказывать, где что находилось: «Вот тут каменный дом зимний под железом, дальше летняя хата, сад большой. А тут задний двор: кухня, сараи, где всякие хозяйственный инвен-

тарь был – сеялка, веялка, плуг...»

Мне было не очень интересно, но я слушал, не понимая ни названий, ни назначения сельскохозяйственных предметов. Куда всё это делось, меня не очень интересовало – я мечтал в этом году поступить в пионеры, потому что в пионеры, как говорили, принимали самые лучших.

Мама ещё не раз рисовала двор своего детства – на пляжном песке или на бумаге, уже дома. Но мне не было дела, куда всё это могло деться – ведь столько времени прошло, и война была... А для мамы, видно, имело значение расположение каждой вещи на плане – кухни, хаты, дома под железом, хозяйственных построек...

Паспорт. Паспорт у неё был удивительный: в графе место рождения указано – село Братское Братского района Одесской области, что было вымыслом. И год рождения указан 1919, а не 1918... Имя крестильное своё она раскрыла только на восьмом десятке лет – не любила она его, мрачное что-то будило... «Меня Варей звали, а когда одна осталась, букву „р“ не выговаривала (зуба переднего не было), так меня и стали называть Валя и в паспорт записали». Новое имя – ещё один барьер от прошлого.

«Никогда, никогда никому не говори, кто твои родители,

говори – не помню, детдомовская я...» – напутствовала умирающая мать. Тайну свою дочь хранила почти до самой перестройки.

А родилась она на хуторе в степи Новороссии, вдали от крупных дорог и городов. «Первый раз машину увидела в пять лет, водитель был такой важный, в крагах, с лётными очками, в шлеме...» Он ехал через деревню и остановился то ли что-то подправить, то ли воды испить на радость сбежавшейся тут же детворе, да и взрослым было любопытно. Дети впервые увидели, что нечто может передвигаться БЕЗ ЛОШАДИ, и слышали ставшее сразу священным, символом чудесного слово – МОТОР! Мотору предстояло стать идолом наступившей эпохи и их религией.

«Самолёт в девять лет увидела, он приземлился в нескольких километрах от деревни. Что тут было! Все кинулись бегом к нему – и дети, и взрослые, и старики! Добежать не успели: он разогнался и взлетел... А первый поезд увидела в десять лет... Ох и дикие же мы были, ох и дикие! (Смеётся.) – Учительница всё никак не могла нам объяснить, что такое озеро и что такое остров! Она говорит, а мы не понимаем. Хватает тарелку, наливает воду: це озеро, понятно? Понятно – киваем. Она выливает воду и переворачивает терелку: це остров, понятно? – опять киваем... Озеро-остров, остров-озеро бубним, и ничего понять не можем.»

А как понять – вокруг, куда ни глянь, ровная, как стол, степь до горизонта, прорезываемая лишь речушкой, откуда-то с северной стороны из-за горизонта появляющейся и за южным краем горизонта исчезающей... вот и вся природа... Человека, приближающегося из самого далёка видно, будто точка появляется в степи и медленно, медленно увеличивается, наконец обретает фигуру и, лишь совсем близко, черты... Какие тут острова, какие моря?

Странное и длинное название для такой невзрачной речки Каменно-Костоватая! (Это я сам потом по интернет карте разубедился). На правом берегу и был хутор Устиновка, где мама белый свет увидела, а на левом, ниже по течению, деревня со смешным названием Прищепывка.

Передо мной фото на паспорту, которому не менее 100 лет: три русских солдата – средний сидит, фуражка лихо сдвинута, двое стоят по сторонам – крайний слева, без фуражки, с открытым высоким лбом и пытливым взглядом – мой украинский дед Сергей, позади античная ваза с цветами, складки портьеры – интерьер фотосалона в духе понимания красоты того времени.

Фото явно сделано перед отправкой на фронт: солдатские формы новенькие, чистые, нет заломов, помятостей, нет ни одного значка или медали – только простые матерчатые солдатские погоны. Участники той Великой Войны, почти стёр-

той со страниц учебников большевиками, растоптавшими её кладбища и память.

Известно, что Сергей воевал в Красной Армии, а брат его родной был белым офицером – прапорщик или поручик, неизвестно. Умер Сергей рано, году в 1922-ом, судя по всему, от рака кишечника. Но родил уже к тому времени четырёх дочек, из которых мама была самой младшей.

Вообще, Робинзону Крузо было чему поучиться у этих людей степи. Однажды мама рассказывала о производственных процессах крестьянина с удивительными подробностями и деталями, я кое-что записал.

«Все делали сами: и хлеб сеяли, и собирали, и пекли, колбасы сами делали, одежду из льна и конопли – рубашки, платья, постельное белье, коврики пряли...»

«Были в хозяйстве сеялка, веялка, борона, плуг. Плугом землю вспахивали, – косое железное лезвие на трех колесах, борона – волокущиеся за лошадью грабли, разбивала крупные комья на мелкие. Сеялка – прямоугольник с дырками в днище, заполненный зерном, – тоже тащила лошадь...

А лен и коноплю рвали руками, связывали в пучки, какое-то время сушили, потом мочили в реке, в черной грязи. Очень весело бывало, когда ее отмывали: купались в проточной воде. Стебли после этого становились белыми, их снова

сушили, потом отбивали, чтобы снять шелуху: выкладывали стебли на брус, установленный поперечно на двух шестах над землей и отбивали круглой палкой. Вся шелуха падала вниз, оставались нити, которые расчесывали и накручивали в мотки. На веретене из этих мотков делали нитки требуемой толщины – скручивали нити льна. А на прялке делали более тонкие нитки.»

Но не только одежда и пища, но и строительство: сами изготавливали кирпичи, сами строили мазанки.

«Черноземную грязь и полову смешивали: кто победнее, месил ногами, у того, кто побогаче – месила лошадь. Полученное месиво заливали в решетку из досок, чтобы получить форму кирпичей. Грязь сохла, и в каждой ячейке получался кирпич. Из этих кирпичей складывали мазанки, стены вокруг огородов и садов. Чтобы кирпичи держались, стены несколько раз с помощью доски обмазывали тонким слоем глины (отсюда и название – мазанки), каждый раз дожидаясь их полного просыхания. Только потом красили известкой стены (вот ведь и о красоте крестьянин не забывал!) – предварительно ее в воде растворяли, а вода при этом кипела.

И высота, и размеры мазанки были точно рассчитаны. Вообще, крестьянское хозяйство было практически безотходным: все шло в дело, даже сажа – ею, опять же для красоты,

проводили линию внизу наружных белых стен дома.

За две недели до Рождества резали свинью. Задняя часть шла на окорок, который весной коптили, из остального делали различные продукты: тонкий кишечник – на колбасы – кровяные, печеночные, чесночные и прочие. В толстый кишечник набивали лапшу и вермишель, отваривали, легкие также ели...»

До трагедии коллективизации уклад сельской жизни с ее трудом и праздниками сохранялся и после революции практически прежним. И праздники религиозные и народные оставались те же, и наиболее запомнившимся было Рождество Христово. «Одевали самое лучшее и садились за стол, на столе – только рыбное – рыба в соусе, жареная, заливная и прочая, в углу под лампадой ставился казан с компотом и рис (кутья). Детям давали калачи с конфетами посреди и отправляли к соседям колядовать. Приходя к соседям, мы пели: „Сею-вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю!“ Зерно бросали в хату, конфеты дарили и нас угощали конфетами» Была ещё колядка «Дева Мария по полю ходила...» на благословление урожая.

Пели, поздравляли, дарили соседям конфеты, за что получали подарки, и что особенно ценилось по одной или несколько копеек».

Рассказывала, однако, о деревенском быте без умиления, без задыхания: все это был тяжелейший от зари и до зари физический труд, рано старивший людей. А сердце рвалось к чему-то необыкновенному. Бывало, среди беготни и игр с мальчишками, после налётов на чужие сады, в которых верховодила, вдруг останавливалась, говоря: «А надоели вы все мне!» – и уходила одна в степь. Ляжет на траву и смотрит на облака за сказочными взаимопревращениями образов – и мечтается что-то, рвётся как птица из груди. Иные люди рождаются и живут как все, а у иных будто врождённое какое-то требование необычности, жажда новизны, подвига и вера в собственные силы, в свою необычность. За эти приступы надменности деревенские мальчишки её «аристократкой» дразнили. А раз вскочила на необъезженного жеребца Мальчика, и понёс её Мальчик за ворота, вдоль речки к обрыву и сбросил: с тех пор на всю жизнь крохотный, почти незаметный шрамик на брови остался.

Впечатлительная была: рассказ священника о Страшном Суде напугал необыкновенно: «Как затрубят архангелы, как разверзнется земля, восстанут мёртвые на Страшный Суд...» И снились ей после кошмары нередко, и думала она о грозном Боге и наказании. И представлялся он ей по-народному язычески – то хитрым дедом с седой бородой, то грозным Спасом-Вседержителем на троне...

Так и жил хутор со своим большим хозяйством на женских плечах... Но женскими силами много не напашешь, вот и приходилось нанимать мужиков из деревни, а в обмен давали пользоваться своими лошадьми и сельскохозяйственным инвентарём, которого на хуторе было достаточно. Это и сыграло при коллективизации: «Использование наёмного труда – эксплуатация! Раскулачить! На Соловки! Пришли деревенские бездельники, пьяницы, за час всех выгнали из хутора, а дом наш под железом себе под сельсовет определили... И мама моя бежала – сто километров по степи на руках несла...»

Я помню, когда мы в школе проходили «Поднятую целину» Шолохова и я начал читать сцену, в которой семью бывшего красного партизана, как «кулака», выбрасывали из дома, мама сильно взволновалась: «Вот так же и нас!» – побледнела, по лицу её будто тень прошла.

Судьбы четырёх сестёр сложились по-разному: одна перед началом коллективизации успела выйти замуж за комсомольского лидера, тётя Галя, приезжавшая к нам в Таллин после смерти Сталина, вместе с мужем была выслана на Север, бабушка с моей мамой на руках бежала через степь, спасая дочь, судьбу четвёртой сестры я не помню.

Бабушка, преодолевая кордоны, добралась-таки до горо-

да, где и погибла от голода и испытаний с последним напутствием дочери: «Никогда никому не говори, кто твои родители и откуда ты – говори, детдомовская!» И осталась моя мама в десять лет сиротой. На этот период, видимо, и приходился рассказ мамы о страшных одиноких ночах в сарае и штурмах крыс.

Судьба смилостивилась, маму спасла от голода и детдома молодая еврейская семья Яблонских. У них как раз родилась дочка и ей нужна была няня. Несколько лет мама прожила у них, ухаживая за маленькой Раечкой. Фима, глава семейства гордо именовал себя коммерсантом, хотя время для коммерсантов наступало лихое. «Мама, – однажды ревниво спросил я, – а как они к тебе относились?» Ответ был неожиданным, лицо мамы озарила улыбка: «Сынок, дорогой, да у нас к своим так не относятся!» Неспроста за всю жизнь не слышал от неё слова плохого о евреях!

А добрые люди были. Революционерка, дочь попа, от отца отрёкшаяся, в школу определила, а пожилая еврейка Фаня Михайловна, директор детского сада помогла ей в рабфак устроиться, в педагогический техникум, жить в детсадовских помещениях давала, и перед войной мама уже работала в детском саду воспитательницей. Добрая Фаня Михайловна, на что она надеялась, когда началась война? – что она, старый человек, никому уже не будет нужна? Ну как же –

Гёте, Шиллер, Гофман, Кант, Гегель, Штраус, Гайдн, туманный немецкий романтизм... Или то, что долг свой она должна совершать до конца... Почему не эвакуировалась?.. Они повесили её.

Мамина юность прошла в крупном промышленном городе Кривой Рог. Здесь в комсомол вступила, жила в общежитии – в доме коммуны. Этот экспериментальный дом-коммуна был выстроен для создания человека нового типа, без тлетворного влияния старого мира – для молодых строителей коммунизма: здесь всё было общее, минимум личного, и сосредоточено так, чтобы советский человек постоянно находился в коллективе: комнатка с соседкой-подругой, общая столовая, прачечная, общие кухни, конференц-зал клуба для собраний, где праздновали новые политические праздники, награждали передовиков труда, проводили лекции и политинформации, вместе пели песни о Родине, осуждали оступившихся товарищей, а когда приезжал старший партийный товарищ и сообщал о новых выявленных нашими доблестными органами врагах народа, с жаром клеймили предателей, кары требовали... Им рассказывали, в какой счастливой стране они живут, – самой счастливой, где уничтожена эксплуатация человека человеком, где люди самые свободные в мире, где все сыты, не то что народы, страдающие под властью капиталистов! Первое в мире государство, устремившееся к светлой цели коммунизма, когда всёго всем будет

хватать с избытком. Попы рассказывали тёмным людям про рай на том свете, а они человеческими руками создадут его на земле! «Человек – это звучит гордо!» И за всё это они должны благодарить партию Ленина-Сталина, лично Вождя!

Вот её предвоенная фотография: худощавая девушка среди двух подруг, комсомолка тридцатых, свято верующая в идеалы коммунизма, в вождя, тайно стыдящаяся своего прошлого (ведь если так поступили с её родителями, значит, они были в чём-то виновны, ведь народная власть не ошибается!). Но тлея, тлея пламя потребности в подвиге, лидерстве, и время гремело подвигами (полёты Чкалова через Северный полюс, подвиг челюскинцев, перелёт до Владивостока Гризодубовой, строительство Магнитогорска, Норильска, перевыполнение планов стахановцами, открытие на Севере новых земель, подвиг папанинцев на льдине!), переход «Сибирякова» по Северному морскому пути за одну навигацию, и хотелось сотворить что-нибудь необычное, время завораживало песнями («Нам нет преград ни в море, ни на суше, Нам не страшны не льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века!»), сердце ликовало от радости сопричастности к строительству великой мечты человечества. Выступала горячо на комсомольских собраниях, казалось, никакие страхи её не смутят – и летели, летели искренние горячие слова! Какое же счастье, что она живёт в самой счастливой стране, где не надо никого

и ничего бояться – ни лживых и подлых врагов, ни дрожать от жутких снов о Страшном Суде! Какая же она была глупая, когда верила в Бога – то в старичка с белой бородой, то грозно-красивого длинноволосого повелителя сидящего на троне! Оказалось-то, что всё это сказки! В такие моменты она была готова совершить какой-нибудь подвиг ради Страны, ради счастья человечества, ждущего освобождения от проклятых эксплуататоров! Да такой, чтобы все узнали и ахнули!

Устраивалась и личная жизнь – худенькая, гибкая она быстро освоила на танцплощадке науку вальса, у неё появился молодой человек – и не какой-нибудь пьяница-рабочий, а **ВОЕННЫЙ!** Не лётчик, конечно, которые больше всего были в моде, но танкист – тоже неплохо: курсант танкового училища, скромный подтянутый юноша, который, осторожно взяв её за локоток, провожал после танцев домой и иногда они напевали по дороге: «Броня крепка и танки наши быстры, и наши люди мужества полны...»

Но для того чтобы вырваться вперёд, показать себя, искупить перед вождём неведомую вину тёмных неграмотных родителей, надо было учиться, поступить в институт, а для этого справка о социальном происхождении требовалась. Но сказал ведь уже любимый вождь, что дети за родителей не отвечают и, собравшись с духом, однажды она поехала

в родные края. Там увидела родной бесхозно обшарпанный дом, превращённый в правление колхоза с красной тряпкой над крыльцом, вошла и вышла со справкой, в которой было написано «из раскулаченных». Взошла на мостик через Костоватую, в клочки порвала цыдулю, и скинула обрывки в поток, и вспомнилась песня из детства: «Соловки, Соловки, дальняя дорога, в сердце боль и тоска – на душе тревога». Что же происходит, в чём виновата её мать, сестра, и многие другие, которых составами гнали на Север? Нет, какая-то несправедливость поднималась жаром со дна сердечного... И что получалось? Получалось – две правды было: одна с песнями, направленная к светлому будущему, другая жалкая, сломленная, уходящая... Кто объяснит? Но последнее слово матери не перешагнёшь запросто... время покажет – решила. И так жила с двумя правдами.

Но страх был. Однажды их повезли на комсомольскую экскурсию в шахту. Виду не подавала, но животный страх просыпался по мере того как клеть со скрипом и треском опускалась вниз, в темноту. И трос держащий казался ей всё тоньше и тоньше, и сколько случаев вспомнилось гибели шахтёров! Всё глуше становился «Марш энтузиастов», и страх, который она, казалось, победила, подступал... слои земли и эпох и тысячелетий проходили мимо, и вот-вот затрубят Ангелы и восстанут мертвецы! Но лица шахтёров были спокойны, неподвижны, вспомнилась их старенькая пес-

ня: «Шахтёр в землю спускается, с белым светом прощается!» Да они каждый день подвиг совершали – завалить, убить взрывом метана – сколько похорон город видел. Правда кто-то постоянно твердил тогда, что это дело рук «врагов народа», и их находили, они жалкие, сломленные во всём признавались, каялись, а митинги рабочих ревели: «Смерть! Смерть!»

А ещё было, когда она почувствовала близость катастрофы каким-то шестым чувством совсем в другой ситуации – ни в шахте, ни в бою, а обычным тёплым летним днём, когда с подругами отправились, как обычно, на обед в рабочую столовую. Как обычно, направились к свободному столу. Одна из подруг смела крошки со скатерти, и они угодили в портрет вождя, стоящий прямо на столе, видимо для поднятия аппетита пролетариата. За соседним столиком было высказано замечание, что это знак неуважения к вождю. Истовая комсомолка возмутилась, попытавшись объяснить, что вышло это случайно. Однако в разговор включился и второй и третий голоса. Они наставляли, что вот из таких небрежностей формируется несознательность, и шахты взрываются. Всё новые люди включались в разговор, всё больше обвинений сыпалось на бедную девушку, громче и злее становились голоса, и уже витало в воздухе столовой страшное «враг народа»! Несчастная девушка уже не возмущалась, а рыдала и извинялась перед всеми. Лишь подруги

защищали как могли, но их никто не слышал. И тут, не сговариваясь, подскочили и бросились к выходу.

Они долго шли по солнечной улице, приходя в себя.

– А помнишь Славу, сына директора шахты, он всегда в белых брюках на танцы приходил...

– Уже не приходит... – сказала другая.

– Что так?

– Отца посадили...

– За что?

– Враг народа, – вымолвила одна из девушек, однако без обычной уверенности. – У нас зря не берут...

– По какой же мы тонкой верёвочке ходим! – вдруг заключила Валя неожиданно для себя.

А прошлое вновь о себе напомнило маме: однажды, когда пришла на работу, вдруг сказали ей: «Тебя сестра искала!» – «Нет у меня никакой сестры!» – сразу вырвалось у неё. Но правда сильнее оказалась: вскоре они тайком встретились; это была Галя, она поведала об ужасах, которые ей пришлось испытать. Галя рассказала, что было с высланными: погрузили в телятники, вывезли в тайгу в архангельской области и выбросили прямо в снег... Мужики пошли рубить дрова, для костра, женщины стали ставить шалаши... За зиму все дети и старики погибли от голода и мороза – от всех поселенцев осталась половина. Позже они, умелые крестья-

не, отстроили себе деревню, выжили, а муж попал в лагерь лишь за то, что, увидев гниющие доски, сказал: «Был бы хозяин, такого бы не допустил!». А Галя слышала от младшей сестрёнки, как их мама погибла... Всплакнули...

Что осталось от этой женщины, моей украинской бабушки? – нет ни одной фотографии, только мама говорила, что звали, кажется, Пелагея, и волосы у неё были красивые, длинные... Что досталось от неё – жизнь мамы, а значит, и моя достались.

«За что?.. За что?..» – шептались сёстры в тени парка. «А то, что жили богато...» «Да какой богато? С утра до ночи пахали, с пяти лет работать начинали – свиной пасть, сорняки полоть...» «Хозяйство хорошее было – да, а у малых обуви не было и всю зиму на печке сидели... А помнишь, как ты захотела прокатиться босиком по ледяной горке? – Выскочила, а ноги об лёд не едут...» Посмеялись тихо... «Зато теперь всё будет правильно, когда социализм построим, во всём разберутся!» – вскидывалась юная комсомолка. «Врут, врут всё! – усмехалась Галя, – Я видела, как умирали дети, как убивали невинных, а ты маму забыла?.. но ты правильно, правильно – вступай в партию, начальником, может, станешь», – и младшая сестра холодела от ужаса: меркла радость сопричастности к великой мечте человечества... Тяжёлый туманный морок стоял в голове, когда тайком про-

биралась домой...

2

Прошли годы, десятилетия и много событий за это время произошло: война, бегство из Кривого Рога за полчаса до вступления в него немцев. «Летний жаркий день, иду по улице и вдруг вижу – телега с семьёй начальника милиции города: сын его, Тарасик, ходил в мою группу, где я воспитательницей была. «Такой упрямый был, – смеется, вспоминая, – спросишь, Тарасик, ты почему балуешься? – насупится так и молчит».

«Валя, ты куда? – спрашивает начальник милиции. – А ну садись к нам в телегу, в городе скоро немцы будут! А я, как сейчас помню – в белом платье и босоножках... Растерялась: ну я сбегая хоть что-нибудь возьму! – некогда, Валя, через полчаса будут!» Думать нечего – села на телегу и началась её одиссея беженства. «Куда ни поедем – там уже немцы: Верхний Токмак, Мелитополь... По дорогам беженцы потоком идут, дым в небо поднимается от горящих подожжённых хлебов – чтоб немцам не достались. Скотину везде в деревнях резали – ею и питались. И солдаты наши бредут серые, усталые, перевязанные окровавленными тряпками, а их ещё ругают: что, мол, отступаете, говорили ведь по радио, что врага будем бить на его территории! А они-то при чём? Идут и молчат...»

По пути сдружилась с двумя украинскими девушками. Звали друг друга Муля, Мэрка и Валя. Мэрка оказалась женой офицера, часть которого накануне войны вошла в Западную Украину. Когда мама поведала им о своём намерении записаться в Красную армию, как только дойдут до ближайшего не занятого немцами города, они принялись отговаривать. «Валь, – говорила Мэрка, жена офицера, – да ты не знаешь как страшно, когда в нас стреляли!»

«Добрались до Днепра. Вот страх-то был! Ночью переправлялись под бомбёжкой. Немцы осветительные ракеты пускают, самолёты бомбят... Мы на плоту переправились...» Удар осколка и тело ко дну идёт, и никто уже о тебе на белом свете не спросит, не вспомнит – какая уж тут героическая смерть!..

А немцы наступали, и катился дальше и дальше перед ними вал беженцев.

Наконец достигли Сталинграда. «А сколько людей там было! Целые сутки простояли в здании вокзала один к одному, не двинуться...» Потом девушкам дали в местном военкомате какие-то справки и отправили рыть окопы. Но дело молодое – познакомились с моряками, эшелон которых шёл в Новороссийск. Одного парня мама настолько очаровала, что он давал ей адрес своих родителей ленинградцев: «Езжай к ним, немцы никогда Ленинград не возьмут! Моряк и представить себе не мог, что предстоит пережить или пересмер-

тить его городу и старики родители скорее обречены...

С эшелоном моряков попали в Новороссийск. «Ты знаешь, мне всегда хорошие люди попадались!» – не раз улыбалась, вспоминая прошлое. В Новороссийске добрый пожилой военком посмотрел на девушек и сказал: «У меня дочка такая же, как вы, девчата, отправлю-ка я вас от войны подальше, будете сопровождать раненых до Ташкента!». Но война, будто не желая отпускать, попробовала зацепить железным когтем: когда шла к мосту через поросшее высокой травой поле, спикировал на неё немецкий самолёт. Сейчас кажется неправдоподобным: шёл первый год войны и, казалось бы, не должно ещё появиться у победоносных немцев такой злобы, чтобы на одного человека, точку с высоты, бросать современную машину, тратить керосин, боеприпасы... Взрыва не услышала. Очнулась лежа среди травы и услышала тревожные голоса разыскивающих её в поле подруг: «Ва-аля!.. Ва-аля!..» Оказалась цела-невредима – лишь лёгкая контузия! Потом на поезде с ранеными через Кавказ до Махачкалы, ночная погрузка на самоходную баржу, отплытие... Впервые увидела рассвет в открытом море, когда судно двигалось к Красноводску, и зрелище это её впечатлило необыкновенно: чувство красоты и величия природы теснилось в груди, чаяло выхода в стихах или песне, но нужных слов не находилось, кроме: «Красиво-то как!» В Ташкенте устроилась медсестрой эвакогоспиталя, благо была пе-

ред войной подготовка в виде ускоренных медицинских курсов. Госпиталь перевели в Коканд. Там впервые увидела горы голубые. Они казались совсем близкими, и раз после дежурства решила до них прогуляться. «Иду и иду, а они не приближаются!» Спросила старика-узбека на ишаке, далеко ли до гор. «К утру дойдёшь!» – усмехнулся узбек. Потом в подмосковный Ногинск, к месту первичной дислокации, куда вернулся госпиталь после того как немцев отогнали от Москвы... Целых три месяца поезд шёл, пропуская составы на фронт и с фронта.

Добрались, наконец, до Ногинска... «Начальник госпиталя у нас грузин был – очень хороший человек, честный...» Раненые разные бывали. Однажды немцев привезли. Немцы на ночь брюки складывали под матрац, чтоб к утру выглядели как глаженные утюгом, и когда в палату их офицер заходил, гремело «Ахтунг» и все, кто ходячий, вскакивали и вытягивались по стойке смирно. Даже в плену они сохраняли порядок. Иное дело – люди из дивизии Рокоссовского, собранной по тюрьмам и лагерям – те бузили часто, их боялись. Однажды один из пациентов стал ломиться в кабинет начальника госпиталя с ножом – спирт давай! И тот его в упор застрелил, а сам бежал, прыгнув со второго этажа. Что тут началось! Бунт по всему госпиталю, погром! Персонал госпиталя бежал, кто куда, а мы, медсёстры, попрятались в подвале, дрожим. Только когда госпиталь военные с автоматами окружили, бузотёров уgomонили. Начальника госпи-

тая назначили нового: «Противный был мужик...»

Характер у мамы был жизнерадостный, и за время работы в госпитале подружилась с медсёстрами, особенно с вологодской красавицей Таней Зимарёвой. Прямая, статная она сохраняла свою особую красоту почти до 80 лет, когда после ухода мамы она приезжала к нам в Подольск. Это не кукольная красота современных див, а нечто совсем иное. Все на них оглядывались, когда шли по Ногинску – зеленоглазая шатенка и светлоглазая блондинка. И запомнилась она улыбчивой, со слегка сощуренными со смешинкой глазами – ни за что не скажешь о тяжелейшей личной судьбе: сразу после войны женилась на советском (с красной книжечкой) поэте, здоровенном мужике с гладким, как боевая каска, черепом, автором нескольких стихотворений, пытавшим ими всю жизнь знакомых, который оказался пьяницей несусветным. От него родила тихого мальчика Вову, который рано начал увлекаться шахматами, а с десяти лет врачи стали подозревать шизофрению. Поэт доконал себя водкой лет через десять, а сыну ничто не помогало – внешне рос, а всё хуже симптоматика. Перестал ориентироваться в комнате, людей узнавать, пришлось определить в закрытую психлечебницу. Шли годы, и Тётя Таня ежедневно носила сыну свежую домашнюю пищу, но... не помогла: полная анорексия привела Вову к истощению и смерти. Мать пережила сына. Кажется, самое страшное, но, удивительно, Таня не утратила

способности радоваться простой жизни: цветам, стихам, голубому небу... И, словно в награду за мученическую долю, годам к 70 познакомилась со сверстником, бывшим фронтовиком, который стал в собственной семье ненужным, помехой. И стали они присматривать друг за другом, стали мужем и женой, даже махнули по ветеранской путёвке в Египет, в Хургаду, правда очень недовольны остались: старики не знали, что за экскурсии надо платить дополнительно и неделю пролежали у Красного моря.

«Ох и хохотушки мы были с твоей мамой!» – улыбалась тётя Таня. Одну историю и мама вспоминала не раз. Ближе к концу войны решили сфотографироваться в лейтенантских погонах. Достали погоны, пришили и двинулись в фотоателье. «А все солдаты нам встречные честь отдают, мы не можем от смеха удержаться, а они удивлённо оглядываются!» Но Ногинск городок маленький. «Шагаем так уже гордо по улице, как вдруг навстречу наш политрук идёт! Мамочки мои! Глаза выпучил, как заорёт, на погоны показывает: „А это ещё что такое? Да за я вас под трибунал, на гауптвахту, а ну снять сейчас же!“ Кинулись мы к госпиталю погоны срезали, ревём вовсю.» Но дело замять удалось – ограничилось разносом от политрука и ручьями девичьих слез.

Но вот наступил день конца великой бойни, война закончилась! Казалось, радость такая ни одного человека не могла

обойти. «Я молодым членом партии уже была и речугу толкала, – вспоминала мама с улыбкой, – а в это время у меня платье украли!» А что такое в то время для девушки единственное платье было – залог судьбы, личной жизни!..

А после войны командировка в Китай «на чуму», где два года провела вместо обещанного полугодия – Харбин, Пекин... Потом полгода в Северной Корее, поразившей её красотой природы... Снова Москва. Встреча с прошедшим от Ленинграда до Берлина отцом, хирургом «светилой», как его звали окружающие, брюнетом-красавцем, армянинном и отъезд в Таллинн, где его назначили главным хирургом республиканской больницы, где родился я. Те десять лет в Таллинне она не раз вспоминала, как лучшие в своей жизни. Но это особая история...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.